

Исследование Л. Ферм представляет собой весьма ценный вклад в изучение истории русского языка XVIII в. Оно замечательно в ряде отношений: рассматриваемые в монографии явления для данного периода почти не изучены, так что работа является новаторской, исследование основано на очень большом и тщательно проанализированном материале, так что выводы автора оказываются хорошо обоснованными и подтверждаются убедительными статистическими выкладками, теоретические посылки автора, хотя и не вполне проработаны, отличаются здравым смыслом, так что собранный и расклассифицированный автором материал может быть использован в других исследованиях по русскому историческому синтаксису. Монография заполняет существенную лауну в наших знаниях об истории глагольного управления, связывая те срезы, которые относятся к допетровскому времени (они описаны в основополагающей для данной проблематики книге В.Б. Крысько [Крысько 1997], широко используемой в рецензируемом исследовании; ср. еще [Maier 1997]), с современным русским языком¹.

Структура монографии проста и обусловлена логикой изложения материала. После введения, в котором излагаются цели работы и ее основные теоретические постулаты, а также описывается материал (корпус текстов), на котором выполнено исследование, следуют четыре главы. В первой главе описывается вариативность между винительным и родительным падежами, во второй – вариативность между дательным и винительным падежами, в третьей – вариативность творительного падежа с винительным, дательным и родительным, в четвертой – вариативность между родительным и дательным падежами. Внутри глав автор рассматривает глаголы, в управлении ко-

торых обнаруживается вариативность, распределяя их по семантическим классам; этот традиционный принцип вполне рационален, поскольку набор валентностей глагола в целом определяется его семантикой, а падежные формы, реализующие эти валентности, варьируют именно в тех случаях, когда ситуационная структура аргументов допускает разные наборы, глаголы близкой семантики имеют неидентичные модели управления, и эти модели в рамках данного семантического класса взаимодействуют. После четырех глав идет заключение, в котором подводятся итоги проведенного исследования. В конце монографии дается список использованных источников, английский резюме и указатель проанализированных глаголов.

Отложив обсуждение теоретических вопросов на конец рецензии, остановлюсь на том, как составлен корпус исследуемых текстов. Весь материал поделен на три хронологические части, деление условное, по третям века: 1700–1733, 1734–1767, 1768–1800 (с. 11). Поскольку материал относительно однороден в жанровом отношении и в его лингвистических характеристиках культурные установки пишущих отражаются лишь опосредованным образом, такая механическая периодизация представляется оправданной: она дает возможность увидеть динамику рассматриваемых явлений и не претендует на априорное соотнесение этой динамики с изменениями в культурно-лингвистической ситуации.

Материал чрезвычайно объемлен. Он основан на сплошной выборке из 26 источников и состоит из 17 400 страниц текста (с. 29); страницы, понятно, бывают разные, и более показательной мерой было бы число словоупотреблений (видимо, порядка четырех миллионов словоупотреблений), но это, конечно, не принципиально: и без всяких точных измерений ясно, что в рамках одного типа текстов (одного регистра) масштаб более чем достаточен и для исследователя, работающего в одиночку, является едва ли не пределом возможного. Отобраны те тексты, в которых, на взгляд автора, “представлена более или менее спонтанная речь, хотя и облеченная в письменную оболочку” (с. 30). Сюда относятся письма, записки, дневники, воспоминания.

¹ Здесь следует отметить также работу Л. Дубровиной [Дубровина 2002], исследовавшей вариативность в глагольном управлении в языке первой трети XIX в. Как можно видеть (по работам Л. Дубровиной, И. Майер и Л. Ферм), интерес к глагольному управлению становится приметой шведской русистики.

Для первого периода берется “Журнал или поденная записка Петра Великого”, “Журнал Петра I с 1695 по 1709 г., сочиненный бароном Гизеном”, “Письма русских государей” в издании М.А. Оболенского, “Письма и бумаги Петра Великого” (в извлечениях), “Архив князя Ф.А. Куракина”, Записки и письма В.Н. Татищева и некоторые другие. Для второго периода использованы Записки Н.Б. Долгорукой, Записки В.А. Нащокина, письма и записки из “Архива князя Воронцова”. Для третьего периода расписаны Записки А. Болотова, Дневник А.В. Храповицкого, документы, опубликованные в “Осмнадцатом веке” и Сборнике Русского исторического общества (т. 5, 6, 9), Письма русских писателей XVIII века (по изд. 1980 г.), письма А.В. Суворова, переписка Екатерины II с Г.А. Потемкиным и ряд других источников.

К корпусу приобщены также еще два памятника. Это “Описание земли Камчатки” С.П. Крашенинникова (для второго периода), поскольку, как полагает автор, “он представляет собой хороший образец русского языка того времени, не обремененного церковнославянизмами” (с. 41); отмечу имплицитную здесь оппозицию “спонтанности” и “церковнославянизмов”, на чем я еще остановлюсь ниже. Для третьего периода это “Письма русского путешественника” Н.М. Карамзина. Включение этого литературного произведения оправдывается тем, что оно написано “в эпистолярном стиле, непринужденным разговорным языком” (с. 46). Автор, как мне представляется, с излишней доверчивостью относится к декларации Карамзина, согласно которой он “описывал свои впечатления не на досуге, не в тишине кабинета, а где и как случалось, дорогою, на лоскутах, карандашом”. Карамзин, как мы знаем, старается создать стернианскую иллюзию спонтанности, но иллюзия спонтанности никак не равноценна истинной спонтанности: в лингвистическом отношении текст Карамзина – это весьма изощренный и продуманный языковой эксперимент, с помощью которого он стремился сконструировать новый вариант литературного языка.

В исследовании использован и ряд дополнительных источников. Сюда относятся словари, прежде всего Вейсманнов лексикон и два издания Словаря Академии Российской; автор делает ряд интересных наблюдений над соотношениями между узусом, наблюдаемым в анализируемых текстах, и нормативными лексикографическими рекомендациями. Используются и грамматики XVIII и начала XIX вв.; в наибольшем объеме это относится к грамматикам Ломоносова, Барсова и Российской Академии, однако учитываются и сведения, спорадически появляющиеся в других грамматиче-

ских описаниях. В ряде случаев автор берет сведения из петербургской Картотеки словаря языка XVIII в.

В первой главе, рассматривающей вариативность между винительным и родительным падежами, в начале анализируются глаголы со значением стремления и достижения (*ждать, ожидать, дожидаться/дождаться, надеяться, желать, искать* и приставочные образования с этим глаголом, *просить* и приставочные образования с этим глаголом, *требовать/потребовать, претендовать, заслуживать/заслужить, достигать/достичь/достигнуть, доходить/дойти, доехать/доезжать*). На фоне отмечаемой общей тенденции к вытеснению генитивного управления аккузативным (впрочем, у отдельных глаголов, например, *ждать* или *дожидаться*, никак не выраженной) выделяются факторы, благоприятствующие употреблению винительного падежа. Сюда относится характер объекта (определенность–неопределенность, одушевленность–неодушевленность; определенность и одушевленность способствует аккузативному управлению), вид глагола (совершенный вид также благоприятствует аккузативному управлению; два указанных фактора связаны, поскольку совершенный вид соотносится с определенностью объекта), наличие приставок, имеющих транзитивирующий эффект, характер действия (захватывает ли оно объект полностью или частично; частичность, своего рода партиитивность, благоприятствует генитиву, хотя данный семантический признак требует, видимо, более четкой формулировки)². Далее рассматриваются глаголы удаления (*избегать/избежать/избегнуть, бегать, бежать, убегать/убежать, бояться, страшиться, опасаться, остерегаться*), в которых спорадическое аккузативное управление вытесняется обычным генитивным, и глаголы “со значением активного физического восприятия” (*смотреть/посмотреть, осматривать/осмотреть,*

² Ср., например, частичный захват в семантике глагола *искать*, у которого тем не менее генитивное управление вытесняется аккузативным. При наличии таких примеров хотелось бы более тонкого семантического анализа, а не простого указания на частичный захват при анализе таких глаголов, как *доходить/дойти, доехать/доезжать*: невозможность при них аккузатива автор объясняет тем, “что объект при них не воспринимается как непосредственно охватываемый действием” (с. 133). В данном случае, впрочем, достаточно, кажется, формального указания на приставку *до-*.

наблюдать, слушать/послушать), в которых, напротив, генитивное управление, неплохо представленное в текстах XVIII в. (преимущественно ранних), вытесняется аккузативным.

Во второй главе рассматривается более пестрый состав глагольных классов. Вариативность между дательным и винительным наблюдается у глаголов наделения (*дарить/подарить, даровать, жаловать/пожаловать, награждать/наградить*), глаголов благодарения (*благодарить/поблагодарить, возблагодарить, благодарствовать*), глаголов просьбы (*просить*), глаголов прощения (*прощать/простить, извинять/извинить*), глаголов вспомоществования (*помогать/помочь, поспешествовать, споспешествовать, покровительствовать и т.д.*), глаголов противодействия (*мешать/помешать, препятствовать/воспрепятствовать, предупреждать/предупредить и т.д.*), глаголов извещения (*извещать/известить, известствовать, рапортовать, уведомлять/уведомить*), а также еще у ряда глаголов, которые ни в какие семантические классы не объединяются (*поздравлять/поздравить, салютовать, попрекать, внимать/внять, верить, терпеть и т.д.*). Судьба этих глаголов была разной: одни элиминировали дативное управление, другие – аккузативное (хотя, заметим, и в том и в другом случае осуществляется нормативный выбор); эти процессы по большей части завершились уже к концу XVIII в. Дативное управление утвердилось у глаголов наделения, вспомоществования и противодействия, а также у *внимать* и *верить*. У других глаголов победу одержал аккузатив (глаголы благодарения, а также *поздравлять, упрекать, попрекать и т.д.*). Автор находит в этом развитии определенную семантическую закономерность: датив закрепляется тогда, когда действие не полностью охватывает объект, аккузатив – в противоположном случае. Это объяснение, однако, кажется чересчур импрессионистическим и при этом явно на весь материал не распространяется. На его ограниченность указывает сам автор, отмечая, например, что из числа глаголов извещения “*рапортовать* перешел на дативное управление, в то время как *извещать* и *уведомлять* стали сочетаться исключительно с аккузативом” (с. 262–263).

В третьей главе, трагующей вариативность творительного падежа с винительным, дательным и родительным, материала меньше; вариативность этих типов характеризует лишь отдельные небольшие классы глаголов. Вариативность инструменталиса и аккузатива наблюдается в глаголах владения (*владеть, обладать, овладеть, завладеть*), глаголах руководства (*управлять, править, вести, распоряджаться, руководствовать, командовать*), глаголах двигательного действия (*бросать/бросить*), а также у глаголов *пренебре-*

гать/пренебречь, жертвовать/пожертвовать, ускорять/ускорить, рисковать. В глаголах первой и второй группы унифицируется инструменталис. Объяснения, которые предлагает автор, не кажутся убедительными. В первом случае говорится о “большей дифференциации значений инструменталиса, его десемантизации” (с. 305); если бы это был действенный фактор, можно было бы ожидать, что инструменталис будет вытеснять и все другие падежи непрямого объекта. Во втором случае торжество инструменталиса объясняется смешением со значением “средства, орудия, посредством которого осуществляется власть” (там же); утверждая, что, скажем, *канцелярия* в словосочетании *управлять канцелярией* означает орудие и, воздерживаясь от более точного семантического анализа, мы употребляем термин орудие в размытом до обесмысливания значении. У глаголов двигательного действия, напротив, аккузатив вытесняет инструменталис (хотя и не полностью), что объясняется ослаблением “косвенно-объектной функции инструменталиса” (там же). Вариативность инструменталиса и датива фиксируется у глаголов эмоционального отношения (*радоваться, веселиться, удивляться, дивиться, ругаться*). Автор полагает, что вариативность здесь обусловлена двоякой возможностью осмысления ситуации: объект может трактоваться как причина (и тогда употребляется творительный причинный), а может – как адресат (и тогда употребляется дательный адресата); побеждает вторая трактовка и, следовательно, датив; отмечу, что об адресате в данных случаях можно говорить лишь с большой натяжкой. Вариативность инструменталиса и генитива представлена лишь у глаголов *гнушаться, стыдиться*.

Последняя четвертая глава, в которой говорится о вариативности между родительным и дательным падежами, самая краткая, поскольку эта вариативность представлена лишь у немногих глаголов. Сюда относятся глаголы приближения и прикосновения (*касаться/коснуться*), глаголы *докладывать/доложить* и глаголы обучения (каузативный *учить* и рефлексивные *учиться* и *обучаться*). В первой группе утверждается генитив, хотя вариативность отмечается еще в XIX в.; во второй группе уже к концу XVIII в. возможен только датив; в последней группе глаголов датив доминировал неизменно, а генитивное управление, хорошо представленное в начале XVIII в., со второго периода “начал[о] терять свои и без того более слабые позиции” (с. 342).

В кратком заключении повторяются выводы, делавшиеся по ходу изложения. Автор выделяет четыре процесса, характеризующих динамику глагольного управления в XVIII в.: “а) вытеснение исконных падежных форм новыми; б) закрепление исконной модели управ-

ления после долгого периода варьирования с конкурирующими моделями; в) распределение падежей в зависимости от семантики управляемого существительного или в зависимости от вида и словообразовательной структуры глагола; г) продолжающаяся конкуренция управляемых форм, не приводящая к вытеснению одной из них" (с. 345). Как можно видеть, эта классификация не имеет содержательного характера и не ставит перед собой цели объяснить, в каких случаях наблюдается каждый из этих процессов, как они соотносятся и т.д. Общая картина развития в XVIII в. состоит в том, что первый период характеризуется "наибольшей нестабильностью и интенсивным варьированием падежных форм", а третий период – отмиранием "многих дублирующих моделей управления"; второй период занимает "промежуточное положение" (с. 348). Что именно обуславливает такую динамику, в заключении не объясняется, автор отсылает к частным объяснениям, разбросанным по тексту. В самом общем виде главный фактор автор видит в смене "осмыслений". По мнению автора, именно "неодинаковое осмысление глагольного дополнения при одних и тех же глаголах – иногда как прямой объект, а иногда как косвенный объект" и является основной причиной вариативности. К тому же "косвенный объект, имея множество значений <...> в свою очередь мог осмысляться по-разному при одном и том же глаголе или семантической группе глаголов, в результате чего он выражался различными косвенными падежами" (с. 349). В силу чего происходит унификация "осмыслений" и радикальное сокращение вариативности, остается в целом неясным.

Как можно видеть, если дескриптивная часть исследования отличается отменной тщательностью и множеством ценных частных наблюдений (что и определяет несомненную значимость работы), экспликативная часть остается недостаточно четкой и убедительной. Отчасти это связано с аппаратом сематического описания. Автор работает с традиционными категориями объекта, адресата, инструмента, явно недостаточными для описания семантики многих глаголов (отсюда отмечавшееся выше распространение этих категорий на случаи, в которых они теряют ясное значение). По неясным для меня причинам, более точный семантический анализ (например, с помощью толкований) в исторической русистике пока не приживается, а между тем он мог бы прояснить те семантические сходства и различия, которые обуславливают унификацию схем управления у глаголов, обладающих сходной актантной структурой.

Приведу лишь один весьма частный пример. Глагол *рисковать* приобретает управление инструменталисом, хотя это позднее заимствование из французского, в котором *risquer* является переходным глаголом, и в XVIII в. может управлять аккузативом. Л. Ферм полагает, что "глагол *рисковать* последовал в управлении вслед за глаголами руководства" (с. 305–306). Что бы могло объяснить это аналогическое развитие, остается неясным, поскольку семантическая структура этих глаголов никак не сходна: рисковать можно жизнью, состоянием, репутацией и т.д., управляют обычно государством, департаментом, конюшней, т.е. объектами совсем иного семантического класса. Между тем, давая толкование, обнаруживаем для *рисковать* ближайшее сходство в семантической структуре с глаголом *жертвовать*. Действительно, X жертвует Y (ради Z) означает, что X перестает иметь (лишается) Y с целью принести пользу Z или создать ситуацию Z (он жертвует жизнью ради отечества, он жертвует преимуществом в пешку ради позиционного перевеса). X рискует Y (ради Z) означает, что X создает ситуацию, в которой он может лишиться Y с целью принести пользу Z (Z может быть тождествен X) или создать ситуацию Z (он рискует жизнью ради возлюбленной, он рискует состоянием ради славы). Аналогии в актантной структуре обуславливают и унификацию управления.

Рассуждая о природе языковых изменений, Л. Ферм справедливо замечает, что изменения порождаются вариативностью и сам процесс изменения предстает как более или менее длительная конкуренция вариантов, в которой лишь постепенно побеждает инновативный³.

³ Не вхожу сейчас в обсуждение вопроса о том, насколько оправдано постулировать одномоментные изменения в языковой системе и постепенные преобразования в узусе, как это делает, например, Хеннинг Андерсен [Andersen 1989]. В рецензируемой монографии рассматриваются по существу именно изменения узуса, хотя при объяснении изменений автор явно или неявно апеллирует к языку как системе (см. ниже). Конечно, в условиях интенсивных нормализационных процессов возможны и весьма динамичные изменения узуса (например, в русском языке XVIII в. исчезновение сравнительной степени на *-ле* под влиянием идущей от Ломоносова грамматической традиции), однако для сферы глагольного управления, не вызывавшей ожесточенных споров нормализаторов, такого рода стремительные изменения не характерны.

Что именно обеспечивает эту победу, автор внятным образом не объясняет, ссылаясь лишь на набор частных факторов (типа вида глагола или определенности объекта), которые действуют лишь факультативно (т. е. приводят к унификации управления в одних случаях и не приводят к этому в других случаях); такие объяснения имеют характер *ex post facto* и процесса в целом не проясняют. Не формулируя своей концепции эксплицитно, автор тем не менее полагает, кажется, что изменения глагольного управления спонтанны, а их общее направление определяется приведением в соответствие синтаксической формы аргументов глагола с некими общими значениями падежей (*Gesamtbedeutung*). Таким образом, процессам изменения одновременно приписывается органичность (спонтанность) и целенаправленность (телеологичность). В начале XVIII в. язык находился в хаотическом состоянии, но затем к концу века пришел в состояние более рациональное и гармоническое; этот процесс гармонизации в дальнейшем привел к формированию современного русского литературного языка. Языковая система выступает собственно как субъект языковых изменений, ср. такие формулировки, как: “Стремление языка к унификации управления, к освобождению от дублирующих форм привело к исчезновению одного из падежей” (с. 321). С этим представлением о языковой динамике связан и отбор материала исследования: отбираются тексты, которым автор приписывает “спонтанность”.

Вариативность, действительно, является фундаментальным свойством языкового узуса, а языковые изменения представляют собой изменения параметров вариативности (в предельном случае реализующиеся как полное вытеснение одного из вариантов), обусловленные конвенционализацией использования тех или иных вариантов. Целесообразно считать, что изменения происходят именно в узусе, а не в системе языка (что бы ни понимать под последней). Из этого следует, что никакая телеологичность языковым изменениям не присуща (поскольку она не может быть приписана постепенно, от поколения к поколению, меняющемуся узусу), а объяснения, апеллирующие к системной гармонии (или принципу экономии), несостоятельны (см. подробнее [Живов и Тимберлейк 1997: 13–14]); из этого следует, в частности, что инновативным вариантам вовсе не всегда обеспечена победа, и в рецензируемом исследовании как раз описано несколько случаев, когда новые варианты появляются и бесследно исчезают (например, аккузатив при глаголе *владети* – с. 270–273). Изменение параметров вариативности происходит в силу то-

го, что носители пользуются вариантами как инструментами для дифференциации смыслов, стилей, социолингвистических коннотаций, нормативного статуса речи и т.д. Именно в процессе такого использования одни варианты могут получать “положительные” оценки и право на существование, а другие – оценки “отрицательные” и, в предельном случае, смертный приговор. Эта переоценка вариантов отнюдь не всегда осуществляется носителями языка сознательно, однако нет оснований приписывать ей особую спонтанность или органичность, отличающую ее от других социокультурных процессов (см. подробнее [Тимберлейк 2002]).

Эти общие соображения относятся ко всякой языковой деятельности. В письменной речи переоценка отличается лишь особой наглядностью, поскольку в ней с большей интенсивностью действует преемственность, устойчивость действий навыков, выбор письменной традиции, дискурсивная мода, т.е. факторы социокультурного порядка. XVIII век в развитии русского письменного языка был периодом наиболее интенсивной переоценки вариантов за всю его историю. Если в Петровскую эпоху происходит разрушение старых регистровых норм и в силу этого существенное возрастание вариативности в письменном узусе, то с конца 1720-х годов динамика литературного языка все в большей степени определяется нормализационными процессами (см. [Живов 2002]). Нормализация как раз состоит в переоценке, отборе и дифференциации вариативных языковых средств⁴. В рецензируемой монографии приводится ряд примеров, когда грамматические рекомендации или словарные указания не соответствуют тому узусу, который Л. Ферм наблюдает в изучаемых ею текстах. Это значит, что нормализация опережает практику, но во многих случаях из этого следует также, что практика идет за нормализацией (ср., например, об инструментальисе, который указан в качестве единственно возможного управления при глаголе *пренебрегать* в Словаре Академии Российской, при том что в анализировавшемся узусе вытеснение аккузатива инструментальисом только еще началось – с. 299; аналогично относительно датив-

⁴ Замечу попутно, что в этой переоценке могло играть роль и церковнославянское словопотребление, так что отсутствие славянизмов как требование (едва ли выполнимое) к включаемым в исследуемый корпус текстам отнюдь не всегда способствует получению адекватной картины развития языкового стандарта.

ного управления при глаголах *учить* и *учить-ся* – с. 336).

Возникающие при нормализации дилеммы могут вызывать ожесточенную полемику, но могут разрешаться и молча – в словарях, грамматических пособиях и языковой практике образцовых авторов. В последней трети XVIII в. в России (как и в европейских странах, на которые Россия ориентировалась) именно изысканная словесность начинает формировать литературную норму. Это означает, что те лингвистические решения, которые принимали (сознательно или не совсем сознательно) наиболее авторитетные авторы, утверждались потом в языковой практике грамотной части общества. Тексты этих авторов читались, изучались в школе и становились образцом для подражания (имею в виду имитацию языковых навыков). Конечно, степень следования образцам и нормативным указаниям зависела от речевого жанра: в текстах, предназначенных для публичного употребления, она была выше, чем в текстах, оставшихся в приватной сфере. Однако в силу общеобязательности языкового стандарта постепенно эти нормализационные решения распространялись на всю языковую практику образованного общества. Судя по всему, этот механизм действовал и в сфере унификации глагольного управления. Можно отметить, например, что в русских диалектах (идиомах, не затронутых нормализационными процессами) генитив прямого объекта представлен существенно шире, чем в литературном языке [Копылова (в печати)], так что диалекты в этом отношении напоминают русский язык начала XVIII в. (как он представлен в рецензируемой монографии).

Теперь мы можем вернуться к вопросу о том, насколько показателен тот материал, который Л. Ферм включает в исследуемый ею корпус текстов. Избавившись от фантома спонтанности, мы видим, что передний край развития языкового стандарта проходит вдали от этих текстов. Не стану утверждать, что это уменьшает ценность исследования, поскольку эпистолярные и дневниковые тексты также в конечном счете отражают нормализационные процессы – лишь с некоторой более или менее длительной задержкой сравнительно с текстами литературными. Дескриптивная часть проделанной работы от данного выбора, вообще говоря, не страдает. Задача объяснения изучаемых процессов делается, однако, трудновыполнимой, поскольку из корпуса исключены те тексты, которые являются очагом инноваций. Так что на экспликативной части отбор материала сказывается скорее негативно.

Поясню это утверждение одним частным сюжетом. Для многих моделей управления автор специально приводит примеры, показывающие, что две конкурирующие модели употребляются недифференцированно. Один и тот же автор иногда в одном и том же тексте использует обе модели, никак их друг от друга не отличая – ни по семантическим, ни по стилистическим параметрам. Это важные и ценные указания, и можно лишь поблагодарить автора за скрупулезный учет подобных примеров. Говорят ли, однако, подобные примеры о том, что мы имеем здесь дело с чистой избыточностью и что развитие состояло сначала в образовании этой избыточности, а потом в ее устранении? Могут ли они рассматриваться как свидетельства простой эволюционной схемы, обходящей стороной переоценку вариантов и опыты их дифференциации? Думаю, что в общем случае ответ должен быть отрицательным и что кажущаяся простота оказывается следствием отбора текстов определенных речевых жанров. Это и в самом деле не те жанры, в которых формируется языковой стандарт; им свойственно то, что можно было бы назвать, пользуясь термином В.К. Тредиаковского, безразборным употреблением.

Рассматривая вариативность датива и инструменталиса, Л. Ферм анализирует процесс экспансии дативного управления (с. 306–311). Этот процесс представляется автору однопольным: датив медленно, но неуклонно одерживает верх над инструменталисом. В первый период датив отмечен в 25 примерах, инструменталис – в 18, во второй период датив в 22 примерах, инструменталис – в 5. Правда, в третьем периоде происходит сбой: датив отмечен в 30 примерах, инструменталис – в 13. Сбой, однако, оказывается, на взгляд автора, фикцией: “Рост употребительности инструменталиса в последней трети века – только кажущийся, так как 11 из 13 фиксаций инструменталиса принадлежат перу одного и того же лица – Н.М. Карамзина. Ему же принадлежит 12 из 30 фиксаций этого глагола с дативом” (с. 308). Карамзин, как уже говорилось, оказывается в анализируемом корпусе инородным телом. Если исключить карамзинские примеры, динамика кажется вполне последовательной: в первом периоде на инструменталис приходится 42% употреблений, во втором – 19%, в третьем – 10%. Развитие не было, однако, столь простым.

Л. Ферм полагает, что “Н.М. Карамзин осмысливал значения этих падежей при глаголе *радоваться* одинаково” (там же). Вряд ли такое заключение справедливо. Как я уже говорил, “Письма русского путешественника” –

это отнюдь не образец эпистолярной спонтанности, но плод продуманного лингвистического эксперимента. Для карамзинского экспериментирования в принципе характерно стремление найти применение любым типам вариативности. Карамзин воспринимает разнообразие языковых средств как богатство, которым хорошему автору грех не воспользоваться, и, как правило, дифференцирует варианты по различным смысловым или стилистическим параметрам. Если внимательнее присмотреться к примерам с глаголом *радоваться*, то и в этом случае мы увидим результаты творческих усилий одного из главных строителей русского литературного языка.

В «Письмах русского путешественника» Карамзин употребляет *радоваться* с дативом в 8 случаях, а *радоваться* с инструменталисом – в 10 случаях⁵. *Радоваться* с дативом встречается в следующих примерах: “радуясь тому, что полученными деньгами может <...> вывести из нужды семейство свое”, “радовался бы тому, что узнал Виланда”, “граф Молтко успокоился и радуется счастью своего друга”, “радовался обещанному ужину”, “Катерина не радуется венцу царскому”, “как англичанин радуется открытию острова, так француз радуется острому слову”, “я никак не думал, чтобы в Вестминстере нашлось двести патриотов, теперь вижу и радуюсь такому числу”. *Радуется* с инструменталисом появляется в следующих контекстах: “радовался я мыслию, что оставляю за собой холод”, “человек <...> везде радуется бытием своим”, “все радовались молодыми супругами”, “я радовался счастливою четою”, “стану хотя в мыслях вами радоваться”, “радуясь живою картиною величайшего, славнейшего города в свете”, “радуясь заходящим солнцем”, “модель храма, которою архитектор <...> весьма радовался”, “нигде не радуются столько ясным летним днем, как на здешнем острове”, “я радовался и веселился необозримостью пенистых волн”. Смысловая дифференциация очевидна и заметна хотя бы из семантических характеристик объекта: объект в дативе обозначает некоторое событие или случай, объект в инструменталисе обозначает либо некоторый вид или идею, которые достав-

ляют радость, либо конкретных лиц⁶. Представляется, впрочем, что дело не в семантике объекта, а в оттенках значения глагола *радоваться*, которые различает Карамзин: *радоваться* с дативом означает ‘испытывать чувство радости по поводу какого-либо происшествия’, радоваться с инструменталисом – ‘находиться в состоянии радости под влиянием некоторого переживания, прямо или метонимически обозначенного объектом’.

В какой степени эта дифференциация была индивидуальным опытом Карамзина и какие последствия имел этот опыт (например, в языковой практике карамзинистов), нуждается в дальнейшем исследовании. Однако в любом случае этот эпизод показывает, что схема развития не была столь простой и однонаправленной, как это представляется автору рецензируемой монографии. Можно полагать, что и в других случаях обращение к текстам изошренным в лингвистическом отношении, которые и стимулировали инновации, сделало бы картину развития глагольного управления существенно более содержательной. Конечно, пожелания остаются пожеланиями, и надо быть благодарным и за те весьма ценные результаты, которые принесло рассматриваемое исследование.

Остановлюсь в заключении на нескольких сомнительных, на мой взгляд, чтениях, встречающихся в монографии в основном при анализе средневековых текстов (когда автор описывает предысторию разбираемых явлений). Иллюстрируя редкое (возможно, исключительное) дативное управление у глагола *терпеть* с одушевленным существительным в дативе, автор приводит цитату из Изборника 1076 г.: “*Съгръбѣяюшеть намъ тѣрпѣть* [богъ] и до послѣднѣяго дыханія ожидаетъ покая<ния> нашего” (с. 253). Кажется, глагол лучше рассматривать как не имеющий объектного актанга, а *съгръбѣяюшеть намъ* трактовать как дательный самостоятельный. Говоря о возможности аккузативного управления при глаголе *верить*, Л. Ферм указывает на пример

⁵ Расхождение между моими цифрами и теми, которые приведены в рецензируемой монографии, обусловлено тем, что Л. Ферм включает в подсчеты префиксальные дериваты *порадоваться*, *обрадоваться*, *нарадоваться* (с. 308); я эти приставочные образования не учитываю.

⁶ Кажущимся исключением является фраза “граф Молтко успокоился и радуется счастью своего друга”; речь, однако, идет не о состоянии или виде упомянутого друга, а о его помолвке с девицей Софией [Карамзин 1984: 164], т.е. о событии. Точно так же во фразе “Катерина не радуется венцу царскому” говорится не о венце как таковом или созерцании этого венца, но о конкретном происшествии, когда (во французской пьесе) Петр I делает предложение Екатерине и протягивает ей корону [Там же: 240–241].

генитива при отрицании с этим глаголом якобы в Судебнике 1497 г.: “И у них де въ Сумскомъ острогѣ мѣра съ колмогорской мѣры припускъ... а нынѣ де воевода Иванъ Мещериновъ той мѣры не вѣритъ” (с. 251). Цитата, как легко заметить по содержанию, отнюдь не из Судебника; на самом деле пример взят из царского указа конца XVII в. (ДАИ, V, № 67, с. 366, 1675 г.)⁷; в этом тексте генитивное управление естественно трактовать как ошибку, как опережающее употребление генитива при отрицании, предполагающего переходный глагол (например, *блустить*), вместо которого употреблен *вѣрить*; это во всяком случае более правдоподобное решение, чем приписывание глаголу *вѣрить* возможности генитивного управления. При анализе управления глагола *известить* автор приводит единичный и явно исключительный пример с генитивом из Жития Константина Муромского: “Князь Константин повелѣ града Мурома извѣстити соитися вѣмъ людемъ и ити на Оку рѣку креститися” (с. 233). Думается, лучше считать, что дополнением в дативе одновременно к глаголам *извѣстити* и *соитися* является *вѣмъ людемъ*, а *града Муром* представляет собой определение к *вѣмъ людемъ*; в этом случае излишне предполагать, что град Муром воспринимается здесь нестандартным образом как одушевленный объект и что “мы имеем здесь аккузатив”.

Завершая, подчеркну, что рецензируемая монография является весомым вкладом в изучение истории русского языка в XVIII в. Она не отвечает на все вопросы, которые встают при анализе развития глагольного управления в этот период, однако ряд проблем в данном исследовании решается, так что оно может

служить прекрасной отправной точкой для дальнейших штудий.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- ДАИ – Дополнения к Актам историческим, собранные и изданные Археографическою комиссиею. Т. I–XII. СПб., 1846–1872.
- Дубровина 2002 – Л. Дубровина. Вариативное глагольное управление в русском языке первой трети XIX века. Uppsala, 2002.
- Живов, Тимберлейк 1997 – В. Живов, А. Тимберлейк. Расставаясь со структурализмом (Тезисы для дискуссии) // ВЯ. 1997. № 3.
- Живов 2002 – В. М. Живов. Литературный язык и язык литературы в России XVIII века // Russian literature. LII. 2002.
- Карамзин 1984 – Н. М. Карамзин. Письма русского путешественника / Изд. подгот. Ю. М. Лотман, Н. А. Марченко, Б. А. Успенский. Л., 1984.
- Копылова (в печати) – А. В. Копылова. Об одной особенности употребления родительного падежа прямого объекта при переходных глаголах в русских летописях и современных архангельских говорах (в печати).
- Крысько 1997 – В. Б. Крысько. Исторический синтаксис русского языка. Объект и переходность. М., 1997.
- Тимберлейк 2002 – А. Тимберлейк. Significatio, conventio, imitatio et inventio // Русский язык в научном освещении. 2002. № 2 (4).
- Andersen 1989 – H. Andersen. Understanding linguistic innovations // L. E. Breivik, E. H. Jahr (eds.). Language change. Contributions to the study of its causes. Berlin; New York, 1989.
- Maier 1997 – I. Maier. Verbalrektion in den “Vesti-Kuranty” (1600–1660). Eine historisch-philologische Untersuchung zur mittellrussischen. Uppsala, 1997.

⁷ Л. Ферм цитирует этот указ по Словарю русского языка XI–XVII вв., не сверив с источником и воспроизводя закрывшуюся в Словаре опечатку: не *вѣритъ* вместо не *вѣрять*.